

Поезд из Душанбе / продолжение

Category: Kitarcsy, Powestler

написано kitarcsy | 22 января, 2025

Поезд из Душанбе / продолжение Подлечившись после ранения, отец, бывший тогда членом «тройки» при Хвалынской ЧК, получает новое задание: командировается в Туркестан для участия в борьбе с басмачеством. На пароходе он спускается с моей матерью до Астрахани, здесь они пересаживаются на баржу, следующую до Красноводска. А было это в то очень нелёгкое страшное время, когда Поволжье, да и не только оно, голодало. Тысячи людей пробирались на юг, в тёплые и хлебные края. В те дни, когда отец с матерью были на барже, Каспий штормил, и баржу бросало на высоких волнах, как щепку. Истощённые люди не всегда выдерживали качку – по утрам в море выбрасывались трупы. Многие не достигли желанного берега. Но одна за другой отходили от Астрахани баржи с людьми, бесконечный поток голодающих шёл в Среднюю Азию, на Кавказ. И поныне есть в тех местах люди, которые попали сюда в голодные двадцатые годы. Они брались за любую работу, лишь бы получить кусок хлеба.

В Красноводске отцу предложили проделать «путешествие», перебраться в Мерв, где, по агентурным данным, зрело выступление басмачей. В Мерве отец с матерью несколько дней ходили по городу, прислушивались к разговорам, сами затевали разговоры, ночевали на базаре. Затем отец устроился сторожем в мечеть. Мулла предупредил: «Никуда из мечети не отлучаться, здесь жить, здесь ночевать». Мать подыскала себе жильё в глинобитной кибитке по соседству, она стала связной отца: приносила ему еду, а от него уносила сведения для «торговца дынями» на базаре. Однажды «торговец» попросил передать отцу, чтобы тот к вечеру покинул мечеть. А вечером чекисты арестовали руководство басмачей, собравшееся в мечети на совещание. В подвале обнаружили ящики с оружием, несколько пулемётов и боеприпасы, даже лёгкую пушку. Оставшиеся на

свободе заговорщики искали отца. Но его перевели на работу в Ташкент, там он получил назначение – заместитель начальника по политической части станции Джебель. Однако мстительная рука и здесь настигла – отца пытались отравить. И только богатырское здоровье помогло – он всё-таки выжил. Но здоровье это оказалось всё же сильно подорванным. В родное село отец вернулся совершенно больным. Некоторое время работал председателем сельского совета, затем перешёл на работу лесничим в надежде, что целительная природа поможет, вылечит.

Об этом периоде в жизни отца, хотя и туманно, я знаю уже не понаслышке. Помню, я учился во втором классе. Отцу, умевшему лишь расписываться на документах, не учившемуся в школе ни одного дня, казалось, что я уже шибко грамотный. По вечерам, когда я готовил домашние задания, он усаживался рядом со мной за стол и просил записать некоторые его воспоминания «об интересных людях и происшествиях». Легко представить, что это были за записи, начертанные неумелой детской рукой, продиктованные непривычным к письменному слогу деревенским мужиком! Но, к сожалению, и они пропали. Уезжая, уже после смерти отца, из Акталука, я оставил их вместе с другими школьными тетрадями на чердаке дома. Кому могло прийти в голову сохранить детские тетрадки, уже пожелтевшие, обветшавшие! Теперь я иногда задумываюсь, почему меня, ставшего ныне автором уже десяти книг, так неуклонно тянет к письменному столу. Не от отца ли перешло это неумное желание выплеснуть на бумажный лист всё, что окрыляет или тяготит душу, не даёт ей покоя?

Особенно запали в память события, связанные с борьбой и поимкой банды Муракая. Об этом разбойнике и воре в наших краях до сих пор ходят легенды, обрастая всё новой и новой небывальщиной. Несомненно, это была колоритная личность, озлобленная, жестокая и беспредельно дерзкая, смелая. Муракай долгие годы держал в напряжении жителей огромной территории от Сызрани, от Жигулёвских гор до Кузнецка, до Инзы. Стремительно передвигаясь на лёгких тачанках, его банда неожиданно

появлялась то здесь, то там. В Пензенском архиве (а наш район одно время входил в состав Пензенской области) хранятся, как утверждают сведущие люди, двадцать томов уголовного дела Муракая и его сообщников.

А начинал он свои «деяния» ещё в царские времена. Первое его дело – вовсе, казалось бы, безобидное в сравнении с последующими: молодой, хотя буйный, своенравный, житель села Атлаш попался на краже овец. Его судили, он убежал из тюрьмы. Его поймали и снова за решётку. И опять – побег. В течение нескольких лет Муракай уходил из-под стражи шесть-семь раз. Вокруг него сколотилась шайка – бандиты грабят обозы, обчищают магазины, среди бела дня могут появиться в самом многолюдном селе, убивают милиционеров, мирных жителей, оказывающих им сопротивление.

Отец впервые столкнулся с этим разбойником в начале двадцатых годов, ещё работая в Хвалынской ЧК. Как-то он отпросился у руководства в родное село, чтобы повидаться с близкими. Здесь он узнает, что в Елшанке, а это в двадцати пяти километрах, остановилась на короткий отдых банда Муракая, бандиты пьянствуют, обирают жителей, издеваются над женщинами. Зная, что у Муракая в Акталуке, как и в других окрестных селениях, могут быть свои глаза и уши, отец не стал просить лошадь у кого-либо из жителей и вечером, уже в сумерках, незаметно скрылся из села. С наступлением темноты был уже в Елшанке. Бандиты всё так же беспечно пьянствовали, даже охрану не выставили. Подкравшись к коновязи, отец оседлал одного из самых резвых жеребцов (впоследствии этот жеребец был подарен отцу), а остальных лошадей разогнал, выведя за околицу. И – помчался в Хвалыnsk. Поднял там отряд чекистов, банду накрыли, главаря взяли. Муракай судили, он снова оказался за решёткой и снова – в какой уже раз! – бежал из-под стражи.

Прошли годы, но случай в Елшанке злопамятный Муракай не забыл. Отец уже работал лесничим, мы жили на опушке леса в полукилометре от села, в доме на высоком холме. Поздним вечером грянул выстрел. Пуля, просвистев над головой отца,

застряла в матице. Отец, схватив винтовку, бросился к простенку между окнами. Затем перебрался на чердак. Помимо винтовки у него было охотничье ружьё; мать заряжала и передавала оружие, а отец вёл огонь почти непрерывно. Казалось, будто с чердака стреляют одновременно сразу несколько человек. Бандиты, не ожидавшие такого сопротивления, пришли в замешательство. А в это время мой старший брат Яхья соскользнул по знаку отца с чердака на крышу подвала, с него спустился на землю и бросился в темноте в село. А то уже гудело, растревоженное перестрелкой. С криком «Убива-ают!» появился Яхья. Люди ринулись к лесу. Бандиты, не дожидаясь лавы, скрылись. Поутру возле дома обнаружили следы крови, медные стреляные гильзы да следы лёгкой тачанки, уходящие в глубину леса.

Появление в окрестных лесах банды на этот раз встревожило всю округу. Слишком уж натерпелись от неё люди, кровавый шлейф повсеместно стлался за нею. На борьбу поднялись сельские активисты, милиция. Отца в эти дни мы почти не видели дома. У него с Муракаем были свои счёты. Незадолго до этого бандиты убили самого верного его друга – милиционера Исмата, расчленили его труп и разбросали во ржи.

На этот раз Муракай уже не сумел скрыться. Его поймали, судили. Он не ушёл от заслуженного возмездия: его расстреляли.

Я с семилетнего возраста повсюду следовал за отцом. По крайней мере, старался увязаться за ним во всех его поездках. В телеге отца всегда лежала винтовка. И мне нравилось представлять, что вот лежу я в телеге с этой винтовкой в руках, зорко вглядываюсь в лесную чашу, а то и отстреливаюсь от бандитов. В моём представлении до сих пор жизнь отца связана с постоянной опасностью.

Но не только с открытыми врагами приходилось ему иметь дело. Уже на моей памяти отца однажды арестовывали по доносу – я носил ему еду в соседнее село, где он содержался в какой-то кладовке. Рассматривалось дело в том же селе выездным

губернским судом. Об этом суде у нас в селе долго потом судачили. Как всегда, выхватывая наиболее яркие детали, что-то приукрашивая, преувеличивая. Рассказывали, будто отец, когда ему предоставили слово, говорил пять часов кряду, выпил ведро воды, и его оправдали, а доносчиков-заявителей тут же в суде взяли под стражу. В общем-то, так оно и было.

Отец был неподкупным. Говоря о кристальной честности, чистоте отца, мать частенько вспоминала, какие баснословные взятки ему предлагали – золото, редкие дорогие вещи, деньги, не имеющие в голодные годы цены мешки с зерном или мукой; он мог бы обеспечить на долгие годы и себя, и своих детей. Но умер, оставив нам лишь поношенный полушубок да сбитые, латаные-перелатанные сапоги. И я понимаю, почему он, даже видя, как недоедают, голодают его дети, отказывался от подношений. Свято веря в идеи справедливости, он сознавал, что стяжательство, корысть, взяточничество, мздоимство или, как иные выражаются, коррупция, ведут к ещё большему обнищанию, несправедности, разорению. Нынешние времена, когда более половины населения нашей необъятной страны вдруг оказалось за чертой бедности, – яркое тому подтверждение. И не трудно представить, что нас ожидает, если попустительствовать этому разграблению. Нет, не сказка, не благодать блаженного мечты о всеобщем равенстве, которые на протяжении веков вели человечество. Хотя и много в них утопического, несбыточного. Другое дело, что мы не умеем воплощать эти мечты, далеко не всегда последовательны. Я не жалею, что отец воспитал меня таким.

Мне было двенадцать лет, когда отец умер. На руках у матери осталось семеро детей, я был в семье третьим. Только старший из нас, Яхья, мог быть по-настоящему помощником матери: он к тому времени закончил курсы шофёров и уже работал. Но со смертью отца несчастье словно прорвало шлюзы: под машину Яхьи попадает один из наших младших братьев Алимджан. Сердце матери разрывается от горя: одного сына уносят на кладбище, а другого уводят в тюрьму.

В поисках лучшей доли уезжает в Среднюю Азию другой старший

брат – Киям. И вот тут-то на какое-то мгновение счастье как бы улыбается нам: Киям неплохо устроился в Таджикистане, он зовёт нас к себе, и мы, по решению матери, в конце концов переезжаем к нему. Так мы, вся наша семья, оказались в Таджикистане. Но было это незадолго до Великой Отечественной войны. И она грянула. Забирают в армию Яхью, уже отбывшего срок своего наказания: он попадает в части, служащие в Иране, и всю войну возит американскую помощь в Баку и Ашхабад. Уходит на фронт Киям, он с войны уже не возвращается, доходит очередь и до меня. А вскоре после моего ухода на фронт умирает от менингита наш самый младший брат, любимчик и баловень всей семьи – Нариман.

За какую только работу не бралась в годы войны мама. Братья потом рассказывали, что мама засыпала, едва коснувшись головой подушки. Но при всём этом она успевала писать и мне, и Яхье, и Кияму, пока тот был жив. Куда бы ни бросала меня фронтовая судьба, как бы ни были эти перемещения стремительны и неожиданны, я повсюду получал письма, стоило появиться в далёком Душанбе моему солдатскому «треугольнику»: в Наро-Фоминске, Можайске, Гжатске, Жиздре, Малоярославце. А какой болью, беспокойством и одновременно радостью дышали её письма, когда после длительного молчания я вынужден был всё же сообщать, что нахожусь в госпитале – в Москве, Калуге, Выксе, Ирбите, Свердловске! Но вот я возвращался в часть, и путь мой проходил уже через Шепетовку, Тернополь, Чертков, Станислав, Ужгород... Закончилась для меня война в Чехословакии. И повсюду следовали за мной письма матери.

В сорок втором году, находясь в госпитале и уже выздоравливая, я после долгого колебания отправил нежное письмо – признание в Акталук. Оставалась там девушка, теперь уже семнадцатилетняя, о которой я не переставал тосковать. Что это за чудо – любовь, и как она узнаётся? Такие общительные, разговорчивые с другими, мы не смели друг с другом словом обмолвиться, а при встречах лишь заливались краской и прятали глаза, хотя втайне только об этих встречах и мечтали. А между тем, все в селе нас

поддразнивали, называли не иначе как женихом и невестой... И вот теперь я решил открыто признаться девушке в своих чувствах. И она мне ответила! И тоже не скрывала уже своих чувств. На каких небесах я пребывал, о каких подвигах мечтал в её честь, как живо рисовал себе встречу после победы – я весь в орденах, при офицерских погонах!.. Но в сорок третьем году переписка неожиданно оборвалась – девушка перестала мне отвечать.

И вот в сорок шестом году, едва выписавшись из госпиталя, я спешил в Акталук. Помимо всего меня, как я уже говорил, подгоняла ещё и надежда встретиться с девушкой. По крайней мере, узнать хоть что-то о её судьбе – по крайности, её адрес, если она уехала.

И я её встретил. Оказывается, в сорок третьем году она переехала в Самару, тогда ещё называвшуюся Куйбышевом, а оттуда вернулась уже с мужем и двумя детьми.

– Ах, какие письма ты мне писал! – вспоминала она. – Я ими зачитывалась, а некоторые строчки до сих пор помню наизусть...

Но, видно, не судьба...

Молодая женщина плакала.

Да поможет Аллах!

А солнце поднималось всё выше, малиново окрашивало облака. И как это бывает, наверное, только в России, ветерок, ещё недавно так нежно обвевавший лица, вдруг усилился, облака побежали по небу, сгущаясь в синеватые тучки. Я с беспокойством всматривался в даль: уже полчаса, как позвонил родственникам в Акталук, а их что-то не видать.

Потрёпанный вагон, сиротливо стоявший в тупике, уже не вызывал отвращения. Мы провели в нём шестнадцать долгих и мучительных суток. Но он все-таки довёз. Спасибо ему – довёз! Теперь думалось уже о том, что нас ожидает. Как мы устроимся? Как скажется на нашем немолодом уже здоровье российский климат, основательно этим здоровьем подзабытый? Какие проблемы ожидают нас, в общем-то непрошенных гостей?

Но вот у горизонта извилась пыль. Приближаются две легковушки и «КамАЗ». У вагона лихо развернулись. Мы с женой спешим навстречу, радушные объятия, улыбки, смех. Нет, наверное, всё будет о'кей! И в самом деле, мы у себя на родине, не где-нибудь! Родина примет, обласкает, приютит. «И дым Отечества нам сладок и приятен».

– А мы уже и не чаяли вас встретить, – басовито гудит Кяшаф, склоняясь к моей щеке. – Куда запропастились? Ещё девятого получили телеграмму, а вас всё нет.

– Так ведь дорога!.. – смущенно оправдываюсь я, словно я-то и виноват в том, что сейчас творится на наших железных дорогах.

А между тем Дамир и Марваис, молодые, крупные, сильные, закалённые физической работой, уже перегружают вещи из вагона в пультман «КамАЗа»: книги, книжные шкафы, письменный и кухонный столы, две деревянные кровати, разобранный шифоньер, заветный мамин сундук, чемоданы.

– И вся утварь? – разочарованно заглядывает Кяшаф в вагон, так быстро, почти мгновенно опустевший. – Труды всей вашей жизни! Да все это можно на двух телегах увезти.

– Так ведь многое пришлось в Душанбе оставить, – снова начинаю смущенно оправдываться я. – Гостиный и кухонный гарнитуры, кондиционер, всякую там мелочь вроде карнизов, занавесок, полок.

– А какой великолепной кафельной плиткой были облицованы кухня и ванная! – со слезами в голосе вспоминает моя жена. – Правильно говорят: один переезд – всё равно что пожар. А тут не уезжать, а бежать пришлось.

– Ничего, – успокаивает Кяшаф. – Славу Богу, что сами живы. Были бы кости, а мясо нарастёт.

– А жить пока у меня будете, – говорит Нариман, перед которым я чувствую себя особенно неловко: у него одна рука, а я и не

знал, что он руки лишился. Такого, помнится, богатырского сложения был «человек».

– Всё страшное позади, – продолжает Кяшаф, приглашая нас в кабину «уазика».

Родное село встретило слепым дождичком. Небольшим, но достаточным, чтобы на узких улицах образовались лужи – эти лужи, насколько я помню, даже в солнечную погоду не всегда пересыхали. Навстречу нам, выгоняемые любопытством, выходили к воротам бабы – в стёганках, в галошах, а то и в подшитых кожей валенках, провожали нас долгими взглядами, переговаривались. Перед одним из ухабов «уазик» притормозил, и я услышал от ближайших ворот дома:

– Ишь, сколько везут! Цельных три машины!

Я поначалу даже улыбнулся. Знали бы вы, милые женщины, сколько нажитого всей жизнью пришлось в Душанбе бросить! Но слова всё-таки царапнули обидой сердце. Мне уже не раз доводилось слышать, как не приветливо встречают беженцев в России. И всё же я тогда не представлял, с чем придётся столкнуться в дальнейшем. «Награбили в Азии, а теперь приехали нас грабить!» Не понимали и не принимали нас наши соплеменники. «С высшим образованием, грамотные! Очки на нос напялили! Водку, как наши мужики, не хлещут, едят мало, книг вон сколько!..»

Вещи разгрузили в летнюю кухню: маленькую, низкую тёмную. Где будут храниться вещи, нас волновало мало. Хоть на улице под навесом, лишь бы дождиком не мочило и снегом не заметало. А вот где нам самим жить, чувствуя себя независимыми и никого не стесняя, никому не в тягость...

– Напрасно переживаете, – улыбался Нариман. – Всё уладится.

Нариман¹, родной брат Кяшафа, занял одну комнату, другую уступил нам. Изба просторная, во дворе подвал. Подвал забит всякими овощами, картофелем, соленьями. Продукты покупать почти не приходилось. Но мы чувствовали себя неуютно: приехали

и сели мужику на шею. К тому же мало к труду приспособленному, инвалиду.

По вечерам, когда собирались за ужином, затевали разговоры. Ча-ще всего о политике, о положении в Таджикистане. Каждое сообщение оттуда мы с женой ловили затаив дыхание. Всё, что там происходило, непонятное порой, бессмысленное и жестокое, болью ложилось на душу.

Мало-помалу мы всё лучше узнавали «нашего хозяина» – Наримана. Как это случилось, что он лишился правой руки, покалечился? Такой богатырь – и надо же! Сам Нариман всячески избегал разговоров об этом. Хотя мы и видели, как он страдал от болей и как переносил их, стиснув зубы. Больше мы узнавали от родственников и знакомых. Но однажды и сам Нариман разговорился:

– Сопровождал десять лет назад груз из Ульяновска... По передку машины, наискосок, точно гигантским молотом долбануло. Враз, скрежеща металлом, вдвинулся в кабину мотор, Наримана будто в железный панцирь запрессовало. Он потерял сознание. А очнувшись, ощутил сильнейшую боль и расслабляющую тяжесть во всём теле. Правая рука, стиснутая железом, не слушалась, правая нога сжата, словно колодкой. Почему-то в кабине темно: он ещё не знал, что груз из кузова по инерции переместился на капот, прочно зашторив переднее смотровое и боковые стёкла. Душно, ни вдохнуть, ни выдохнуть: что-то впилося в бок и давило на сердце. Сдавлен, даже головой не пошевелить. С трудом высвободив левую руку, Нариман отодвинул металлический предмет, впившийся в бок, – дышать стало легче. Но мучительная боль всё же сопровождала каждый вдох и выдох.

А на дороге, забыв о пострадавшем, вели разборку – кто на кого наехал, кто нарушил правила движения. Наконец, спохватились, подбежали к машине, а извлечь Наримана из железного плена не могут – ни монтировки, ни ломы, ни молотки не помогают – перекорёженная кабина, вмятая дверца не поддавались. На помощь пришли проезжающие мимо водители: зацепили с двух сторон

кабину тросами и автомашинами растащили. Раздробленную, измочаленную правую руку хирург потом «состриг» по самое плечо – осталась лишь короткая культя. По кускам собирал рёбра, долго латал правую ногу.

Однако беда в одиночку не ходит, всегда за собой подругу ведёт. А тут вскоре жена умерла. Дочерей они ещё раньше повыдавали замуж, они поразъехались – остался Нариман один. Хозяйство большое, налаженное: два десятка овец, десятка два кур, огород, картофельное поле. Да и ту же кошку или собаку, а без них в селе нельзя, тоже кормить надо. С малых лет втянулся Нариман в нелёгкую крестьянскую работу и не тяготится ею – напротив, она радовала его. А теперь –вроде бы, и зная её прежде, всему приходилось переучиваться заново.

И ведь переучился! Делами управляется сноровисто: одной рукой колет дрова, подаёт сено овцам, стелет под них солому, таскает мешки с зерном, даже может водить одной рукой автомашину. Всё у него дома есть, за мясом или картошкой, за яйцами или мукой по магазинам не бегают. Горе и одиночество не стал топить в вине, не отчаялся. Привычный сельский уклад втянул его в свои размеренные порядки. «Прозеваешь лето – зимой околеешь, – рассуждает Нариман. – Первое дело, чтобы в доме было тепло, а для этого нужны дрова. Голодным ещё можно прожить неделю-другую, но в холоде за ночь околеешь».

Но вот в доме, на кухне он беспомощен, как дитя. Что-то сварить –большая проблема. Ладно, неприхотлив в еде: на картошке в мундире может прожить целую неделю. Однако не будешь же на одной картошке или на незатейливой похлёбке жить. Мы понимали: ему нужна хозяйка, женщина, жена. Как говорится, мужик и собака – во дворе, а баба и кошка – в доме. И Нариман уже пытался найти такую женщину. Да после жены, с которой прожил не один десяток лет, не так-то просто это сделать, и теперь нам казалось, что он не отваживается пригласить в дом женщину, потому ещё, что и мы тут толчёмся.

Особенно обостренно ощущала это моя жена, женщины вообще

особо чувствительны к чужому столу, к чужому приюту.

– Пора, Нариман, нам и честь знать, – всё чаще говорила она, когда мы вечерами собирались за столом.

– Да чего уж там, живите, – добродушно отвечал Нариман. – Всего у меня вдоволь.

Вдоволь... За столом Наримана нам невольно вспоминались последние месяцы в Душанбе: огромные очереди у магазинов, пустые прилавки, скудные рынки. Как часто нам приходилось довольствоваться лишь чаем да хлебом!

– Нет, Нариман, пора нам что-то и своё найти, – это жена обращалась уже в мой адрес.

А я, придя в себя после дороги, немного отдохнув, уже начал ходить по местным учреждениям, присматривался. Приезжими в селе оказались не только мы, возвратилось немало моих земляков. Иные покупали старые, ветхие дома, восстанавливали их, устраивались на работу, а чаще всего жили за счёт случайных заработков: поставить сруб, выкопать колодец, починить крышу дома, сложить печь... Два десятка сёл в районе вдруг наполнились высококвалифицированными не востребованными специалистами. Сельское хозяйство ограничено в запросах на специалистов, тут нет заводов и фабрик, крупных строек, артелей. А в город приезжим путь, по сути, заказан, не по карману жильё. Да и где в районном центре взять столько жилья, найти столько рабочих мест?

Но в районе уже была создана миграционная служба. Я отправился туда, в контору той службы.

В небольшом кабинете – молодая, ладная женщина, на столе громоздились скоросшиватели, папки, кипы бумаг. Служба создана недавно, видать, работала губерния, что называется, писала.

– Слушаю вас, – подняла на меня взгляд чиновница.

Я попытался рассказать о себе, о своём положении: мол, дома

отцовского давно уже нет, живём у родных и доставляем им массу хлопот.

– Помочь вам с жильём мы не можем, – перебила меня чиновница. Пусть ваши родственники – как бы это сказать? – пошире открывают вам двери.

– Двери-то они открыли широко. Но ведь мы не можем сидеть у них на шее. У родных, наверное, есть какие-то свои проблемы, свои трудности. Да и государственные органы обязаны оказать нам содействие. Вы по молодости лет, наверное, не знаете..

– Нашей областью не предусмотрено размещение беженцев и переселенцев, есть места компактного заселения возвращающегося в Россию русскоязычного населения, – опять перебила меня чиновница уже с раздражением. Она говорила складно, как по писаному, как, очевидно, привычно отвечала уже не мне одному.

– Тем более наш небольшой сельский район не способен обеспечить беженцев и переселенцев жильём и работой. Посудите сами, если в прошлом году к нам прибыло шестьдесят беженцев, то в этом году уже триста сорок – сколько же их будет в следующем? Как нам быть? У нас нет ни копейки на строительство. А все клубы, конторы и прочие пригодные для общежития здания уже заняты. Конечно, большинство прибывающих – люди трудоспособного возраста, со средним и высшим образованием, есть среди них и специалисты, нам очень нужные: экономисты, бухгалтеры, педагоги, инженеры. Мы радуемся, что в село возвращаются классные специалисты, но подключить их всех к народному хозяйству, помочь им благоустроиться мы не в состоянии.

– Значит, все эти люди, не нужные нашему народному хозяйству, оказываются брошенными на произвол судьбы? А нам, старикам, выходит, и вовсе не на что надеяться?

– Почему же? Берите льготную ссуду и стройтесь.

– Это в моём-то возрасте, в семьдесят лет? Это мне-то, инвалиду войны?

– Искренне сочувствую, но помочь ничем не могу.

– Зачем же тогда создана ваша контора?

– А это уже не вашего ума дело! – грозно взглянула на меня чиновница.

Бессмысленно было после этого обивать пороги государственных учреждений. Брать ссуду, строиться – мне не двадцать, даже не сорок лет, пока хотя бы подвал дострою – концы отдам, дом станет золотым гробом. Не по моим это уже силам, не по моему здоровью – строиться. Для этого нужна ещё одна жизнь. А где её взять? Да и кто мне в банке ссуду даст? И мои-то годы? Под какой залог, под какое поручительство? Под залог моего бессмертия? Тоже мне, Кошея бессмертного нашли!

Но я продолжал обивать пороги этих самых учреждений. Страшно было оставаться «дома» наедине с женой, видеть её растерянные, испуганные глаза, глядеть, как мается она ещё и одиночеством. Потеряны не только квартира, какая-то её обстановка, потеряны друзья, среда общения, привычный образ жизни, мы как бы отброшены к самому началу своей жизни, но тогда мы опять-таки были ещё молодыми. Оставлены могилы родных, близких людей – матери, тёщи, родного брата, многих товарищей. Кто придёт к их могилам? Всё больше и больше утрачивается вера, лишь слабый огонёк ещё теплится. А без веры, надежды и любви – горькое существование. Вера в демократию, которая так много обещает, но плоды которой, похоже, нам так и не вкусить. Пока «демократия» лишь разрушила наши дома, разожгла междоусобные войны, резко разделила общество на очень богатых и очень бедных, причём очень богатых – единицы, а очень бедных – миллионы и миллионы. Что при таком разделении ожидает – подумать страшно! И я старался не думать.

Неустроенность, неприятность, неопределённость порождали ощущение, будто мы всё ещё в пути, и вагон наш грохочет по ночной степи, душит нас угарный тепловозный дым, колеса неумолимо стучат, отдавая болью в висках, и мы несёмся куда-

то в какие-то дали...

Пытался я восстановить связи с друзьями, узнать, как они устроились – быть может, их опыт поможет и мне. Но они не отвечали – не до меня, видно, было. Несколько писем отправил Александру Ивановичу. И от него ничего нет.

И вдруг – письмо.

Неутешительное. Александр Иванович сообщал: из общежития в Валдае их с женой выгоняют – «пожили, хватит – другим дайте пожить», что в поисках жилья, сносной доли изъездил он многие области России, побывал даже на «закордонных» украинских чернобыльских землях.

Стоят пустыми дома, – писал он. – Жителей расселили подальше от радиации. Но из «горячих точек» – Таджикистана, Азербайджана, Абхазии, Чечни – понаехали сюда люди. Разговаривал я с женщиной, приехавшей из Душанбе. У неё пятеро детей, её гонят из заражённой деревни, а она плачет: «Кто я? Мама украинка, папа русский, я родилась и выросла в Таджикистане, муж у меня татарин, а дети мои метисы, где наша родина? Где родина моих детей? Нет такой страны – Метистан. Была родина – Советский Союз. Теперь наша родина – Чернобыль. Тут много пустой земли, пустые дома, нигде мы больше не нужны, нигде нас не принимают. Отсюда никуда не уедем».

Побывал мой старый друг и в Липецкой области, в тамошнем товариществе беженцев и переселенцев «Зов», в Калужской области, где переселенцами из Таджикистана создавалось первое в России компактное поселение изгнанных русскоязычных «Новосёл», получившее даже статус самостоятельного посёлка.

«Плохи у них дела. Липецкий губернатор Купцов, пока был при должности, обеспечивал поддержку товариществу, защищал беженцев от наскоков районных и колхозных властей, враждебных переселенцам. Однако как только губернатор сменился, тут и началось. Под предлогом нехватки земли прекратили прописку приезжих, аннулировали решение об отводе земель под

строительство на одном из участков. Результат – уехали два десятка семей. А председатели колхозов, районные власти пытаются отобрать даже ту землю, где уже выросли дома, разрослось производство, даже норовят отравить измученных переселенцев и таким образом их выжить, уничтожить. Не лучше в Калужской области. Классно разорили «Новосёл»! До какого-то момента это товарищество развивалось успешно. Но вот попало почему-то в немилость Федеральной миграционной службы – главной по этому вопросу чиновничьей конторы. И контора расторгла заключённые ранее с «Новосёлом» договоры на строительство, глава ФМС мадам Регент лично приняла решение прекратить финансирование. И приостановилось строительство жилья, и люди уже второй год живут в лесу в холодных вагончиках».

«Я поражён, – заключал мой друг, – до чего толстошкуро, не пробиваемо никакими народными страданиями нынешнее правительство, эти так называемые демократы – чиновники. Я даже не могу назвать их реформаторами, как они сами себя величают, потому что они, прежде всего, разрушили всё ранее созданное, а ничего нового пока ещё не «родили», кроме как новых контор – ведомств. Всё происходит по какому-то абсурдному, как бы разработанному российскими врагами сценарию. Народ российский не желает видеть в нас, вынужденных переселенцах, своих братьев и отторгает как инородное тело. Отторгает безразличием, а то и откровенным презрением, зачастую даже и ненавистью. Своих бед полно? Но теперь ведь это и наши беды! Вместе бы мы быстрее с ними справились... А что же в этих условиях вожди, вершители судеб, всенародно избранные? Вся их забота вылилась в указы и законы, которые никто не исполняет, в создание опять-таки многочисленных миграционных служб во главе с ФМС, штаты которых мгновенно разбухают. Незначительные средства, выделенные на обустройство переселенцев, идут на содержание всё тех же чиновников, на непонятную и бесполезную трескотню-говорильню вокруг «переселенческого вопроса». А то и вовсе исчезают неведомо где, как в бездонной бочке. Переселенцам достаются от жилетки

ру - кава...»

Следующее письмо Александра Ивановича было не менее гневным: «Ты, Ибрагимыч, всё рассуждаешь, почему к нам, переселенцам, такое на Руси отношение. Верные твои рассуждения, и я могу их дополнить. Ярость местного населения вызывает ещё и то, что мы не такие, как они, что среди нас, переселенцев, много людей по-настоящему интеллигентных («а ещё в очках, в шляпе!»), что кому-то из нас неслыханно повезло – удалось вывезти автомобиль или женину норковую шубку, и неважно, что кроме этого автомобиля или шубы у людей ничего – ну ничегошеньки! – не осталось, потому что ни такого автомобиля, ни такой шубы у местного населения вообще никогда не было. Главное же, переселенцы, как правило, своей энергией, деловитостью, трудолюбием на голову превосходят местных жителей и неуёмной активностью будоражат сонное российское болото. Кому это понравится? Способы борьбы с такой напастью на Руси издревле известны: у кого скот отравят, у кого усадьбу спалят, а кого и вовсе жизни лишат».

Далее Александр Иванович пытался объяснить, почему, по его мнению, всё это происходит, откуда повелось, в чём корни. А дело, по его мнению, в том, что в двадцатые-тридцатые годы на глухие окраины Советского Союза ссылались самые трудолюбивые, энергичные люди центральных областей России: так называемые кулаки, предприниматели из бывших нэпманов и им подобных, высококвалифицированные рабочие, в чём-то нелояльные советской власти или подозреваемые в такой нелояльности. А то эти люди сами туда бежали, скрываясь от притеснений. А ещё раньше туда бежали многие светлые головы России из так называемой буржуазной интеллигенции: учёные, педагоги, врачи, инженеры. Быстрый взлёт бывших царских окраин – это результат не только национальной политики советской власти, эту политику надо было кому-то искусно в жесточайших, порой невыносимых условиях претворять. Да и огрехи этой самой национальной политики во многом помогали – разные там привилегии, льготы нацменьшинствам. Взять хотя бы село: в Таджикистане не только

к каждому долинному кишлаку, но и почти к каждой кибитке асфальт проложен. Повсюду газ, электричество. Дехкане не бежали из села, они исправно город снабжали, а те продукты, которые на юге не производились, так же исправно завозились из России. И люди работали, не пьянствовали, не спивались от неустроенности, бедности, нищеты. Русскоязычное население национальных республик сложилось в особое, отличное от своих собратьев в России сообщество, и здоровое его начало поддерживало всё новые и новые подрастающие поколения. «Отсюда, – писал Александр Иванович, – и наши личные автомашины, норковые женины шубки, домашние библиотеки. Мы не спускали скудные подчас заработки в кабаках, а старались всячески их преумножить, разводя, как, скажем, я, пчёл, а это, надо признаться, занятие ох какое нелёгкое, ох каких сил, какого труда стоит! Отсюда и наше нынешнее обострённое чувство обиды, растерянности, обойдённости злосудной судьбой, так поддерживаемое нынешними горе-правителями. Рассуждения мои, конечно, сумбурные, далеко не исчерпывающие – на эту тему целые трактаты писать надо, и такие пухлые исследования, я думаю, будут ещё написаны, но ты, Ибрагимыч, с моими соображениями, я уверен, будешь согласен. Мы ныне в России, на своей исторической родине, в родных пенатах изгой, жалкие и гадкие утята. А в каких прекрасных лебедях, украшающих Россию, мы могли бы, поддержи нас, вырасти! Я говорю не только и даже не столько о нас с тобою, стариках, а о молодёжи, мигрирующей ныне в Россию, а ведь эта миграция – массовая!

Заключал Александр Иванович сообщением, что он продал всё, что у него ещё оставалось после железнодорожных грабежей, в том числе и «Жигули», купил в Валдае однокомнатную малогабаритную квартиру-хрущёвку, благодарил за моё приглашение приехать погостить и горевал, что приехать не может: пенсию задерживают, денег свободных нет, да и вообще на те «пенсионные», что они получают с женой «едва можно свести концы с концами». В последних словах чувствовалось столько горечи, что мне подумалось, что денег у него, наверное, нет даже на конверты. Послал по почте конверты, но ответ до сих

пор так и не получил. Как он там, в Валдае? Или судьба-злодейка ещё куда-нибудь его забросила? Да поможет ему Аллах!

Как бы то ни было, а на первых порах Александр Иванович свою квартирную проблему решил. Вот бы и мне развязать как-то этот гор-диев узел! Не век же у людей жить, хотя и добрых, не стесняющих.

И тут неожиданно на помощь пришёл Кяшаф Яхьевич.

Человек богатейшей биографии, суровой жизненной школы, Яхич, как все его называют, прошел путь от рядового колхозника до руководителя крупнейшего в районе совхоза. Сейчас он на пенсии, но по-прежнему пользуется среди людей огромнейшим авторитетом. Беда лишь, что Яхич болен, страдает астмой – сказалось многолетнее «общение» с ядохимикатами, химическими удобрениями. Но это не умаляет его кипучей энергии. К нему по-прежнему обращаются люди с самыми разными просьбами. И Яхич, когда астма «оставляет» его, развивает прямо-таки неудержимую деятельность: его не могут остановить даже пороги самого высокого начальства, если это необходимо для дела. Он уже и нам с женой успел помочь, хотя мы с ней не решались обременять его просьбами – понял, сколь нам тягостна опека Наримана, и выхлопотал для нас участок земли, на котором мы могли бы выращивать картофель, овощи, нашёл хозяина, продавшего нам по сходной цене кур и корма для них. А теперь вот и гордиев узел помог хоть как-то распутать.

Мы с Яхичем не раз прохаживались по Акталуку, и я присматривался к домам, разбросанным по его низинам – никак не хотелось расставаться с надеждой, что в Акталуке найдётся по приемлемой для меня цене хоть какое-то жильё. Однако ничего подходящего не находил. Почти на каждой улице были пустующие, оставленные жильцами дома. Но какие это были развалюхи! Без окон и дверей, с ветхой, а то и вовсе развороченной, провалившейся крышей, брёвна прогнили, полы почернели, а то их и вовсе нет. Бесхозные дома навевали печаль. Почему они брошены? Где их хозяева? Отчего они уехали? Когда? В тридцать

третьем голодном или в голодную войну? На ухабистых, взрытых тяжёлыми тракторами улицах непросыхающие лужи, повсюду мусор, кучи гниющего хлама. Встречались и добротные дома: просторные, с автономным отоплением, индивидуальными котельными. Некоторые из этих домов продавались, но купить такой дом мне было не по карману. А приобрести развалюху, снести, а на её месте поставить новый сруб – это мне, старому человеку, тоже было не под силу.

– Хотя бы какое-нибудь общежитие найти, что ли! – как-то горько вздохнул я во время одной из таких прогулок с Яхичем по Акталуку.

Вспомнился Александр Иванович, который каким-то образом добился в начале своих мытарств комнаты в общественном жилье.

Яхич остановился, внимательно посмотрел на меня и вдруг сказал решительно:

– Поехали!

И повёз нас с женой в райцентр, в местное СПТУ.

Я уже слышал об этом профессионально-техническом училище. До недавнего времени это было прекрасное специальное учебное заведение. Но в последние перестроечные годы дела в нём шли всё хуже и хуже: техника выходила из строя, учебные поля засеивались не полностью, зимой в зданиях лопались батареи, выходили из строя электромоторы – нет денег иной раз даже на хлеб учащимся. Как готовить механизаторов для сельского хозяйства в таких условиях?

Встретил нас сам директор. Яхич с ходу изложил свою просьбу. Отказать хорошему человеку, под чьим руководством в своё время начинал трудовую деятельность, которого считал своим наставником, директор, конечно, не мог. Но и предоставить жильё постороннему – это значит не, то чтобы пойти на нарушение устава учебного заведения, какой уж тут устав, если беженцами уже занят один из трёх корпусов общежития! Правда,

квартплата, оплата электроэнергии приносят немного дохода, позволяют хоть как-то вертеться. Но вдруг придется выселять жильцов? А куда их выселять? На улицу? Да и осталась-то незанятой, пустующей всего одна комната, да и та... Директор смотрел на Яхича с жалкой, извиняющейся улыбкой, а на нас с женой поглядывал даже как бы с надеждой, будто мы можем в чём-то помочь ему – но крайней мере, освободить его от выполнения просьбы уважаемого им Яхича.

Наконец снял телефонную трубку, позвонил коменданту общежития:

– Придёт сейчас к тебе один беженец... Покажи ему пустующую комнату...

Комендант общежития, женщина в брюках, с сигаретой в зубах, провела нас на третий этаж здания и в длинном коридоре открыла одну из дверей – у меня сердце упало, а жена бессильно прислонилась к притолоке. Не было жилья, как это мы обычно понимаем: узкая, длинная и влажная, затхлая, как гроб, комната, и стены в дождевых потёках, крыша протекает, пол завален осыпавшейся штукатуркой. Кухня, водопровод в противоположном конце коридора, там же туалет, по коридору ветер гуляет... И всё же крыша над головой. А что делать? Уже на следующий день мы с женой, засучив рукава, принялись за ремонт. И кое-как обустроились. Правда, как только дождь – снова и снова взбираемся на крышу, застилаем её обрывками рубероида, кусками железа, заливаем гудроном. Но помогает мало: разошёлся какой-то там шов, нужны специальные восстановительные работы, что нам, конечно, не по плечу, и в сильные ливни мы просыпаемся от того, что заливает кровати. И от этого ощущение, будто мы всё ещё в пути, в холодном, продутом ветрами вагоне, не покидает. Когда же, наконец, мы прибудем туда, где нас ожидает тепло и покой, в которых так нуждается старость?

А тут – ещё один удар. И для меня, участника, инвалида Великой

Отечественной войны, удар и вовсе уже ниже всякого пояса.

Избирали президента России. Первого президента. Какой поворот истории! Мы с женой не могли оставаться равнодушными, в стороне, празднично приоделись, отправились на избирательный участок. Миловидная женщина, сидевшая за регистрационным столиком, оглушила, сообщив:

– А вас в списках нет!

– Так впишите, внесите в список!

– Не имеем права: вы – не граждане России.

– Как это не граждане? А кто нас лишил гражданства?

– Выясните в поселковом совете, списки там составлялись.

В поселковом совете показали правительственное постановление: вернувшиеся в Россию из ближнего зарубежья после такого-то числа, после февраля что ли, такого-то года, не считаются гражданами России. В паспортном отделе местного УВД пояснили: для восстановления гражданства необходимы такие-то и такие справки и, как говорится, на каждой справке сей ровно двадцать подписей. А где мы можем найти, к примеру, хотя бы метрики отца и матери, когда ни отца, ни матери уже давно нет на свете? Да и за каждую справку надо платить, и цены за них учреждения заламывают бессовестные, а нам иногда даже на хлеб не хватает, не то что на прокорм бесстыжих чинуш.

Едет наш вагон, гроыхает. Куда он везёт нас? Чьи мы граждане? И откуда мы прибыли? Может, с острова на Тихом океане, где нет паспортов, да и не только гражданства, но и штанов, люди ходят го-лышом, ибо круглый год – лето? А тут, выходит, мы как бы ничьи.

Когда я в зиму сорок первого – сорок второго годов ползал, замерзая, в подмосковных снегах, я был солдатом Советского Союза. Когда я работал в одной из бывших советских республик, я тоже значился полноправным членом этого великого

многонационального содружества. И никто не мог меня упрекнуть, будто я работаю на благо только этой республики, а не всей Родины, в том числе и малой своей Родины, которая ныне, следуя правительственным распоряжениям, даже не имеет права меня принять, успокоить мой прах рядом с могилами моих предков, испокон веков живших на этой земле. Так, где же я живу? Или по старости лет мне уже ничего не понять?

А вагон наш всё едет, едет. За окном белая мгла, снегом покрыты поля, леса. Жгучий морозный ветер бьёт в стекло, проникает сквозь щели в наше угретое тепло. Столбик термометра за окном дрожит на двадцати градусах мороза – значит, мы в России. Настрадавшись летом и осенью от протекающей крыши, теперь мы страдаем от холода – это Россия. Не новость: суровы в России морозы, но чтобы такие – я не подозревал! А может, это я уже настолько дряхл, что кровь стынет в жилах и не греет?.. Нет, это не греет Россия.

На днях я прочитал рукопись моего давнего друга, поэта, великолепного человека, родившегося в Ленинграде, но тоже отдавшего свои лучшие зрелые годы Таджикистану, а теперь живущего в глухом, забытом Богом посёлке Пензенской области. И не выходят у меня из ума, преследуют такие его строки:

Оглянешься внимательно –
Невмоготу терпеть:
Была Россия матерью,
Но мачеха теперь.
И если всё же новый
И будет переезд,
То только под сосновый
Невыструганный крест.

Зима нашей жизни. Не хочется покидать угретое место под одеялом, не манит бодрящий утренний чай, не хочется открывать глаза, чтобы встречать печальный взгляд жены, которая ещё острее, чем я, чувствует неустроенность. У меня тогда такое чувство, будто я умираю и меня добивают. И душа уже отделилась

от брэнного страдающего тела, она живёт далёкими годами, играми со сверстниками, катаниями на санках, и у неё свои обиды, боли и раны, и эти детские раны сменяются ранами фронтовых лет, а затем я как бы отдыхаю в тёплых краях среди виноградников и урючных садов, и в их аромат вплетается пьянящий запах весенних ландышей и берёзовых роц моего родного Поволжья. И вдруг – угарный, удушающий смрад тепловоза, железной дороги, и я точно снова в тряском товарном вагоне на бескрайних просторах казахстанских степей с тревогой за сегодня и завтра. И душа возвращается в брэнное тело, и на неё проливается воля, и в ней просыпается прежняя страсть борьбы, и дух отрицания, и дух сомнения, и чувство надежды, и – несмотря ни на что – вера.

Душа жива, душа не смиряется.

А жена с головой ушла в религию. Она читает Коран, каждый день совершает положенные намазы, никому она теперь не верит, кроме Аллаха. Да поможет ей Аллах!

Конец.

* * *

1 Озоди – площадь Свободы, Шахидон – Невинно убиенных, так сразу после провозглашения независимости республики были названы бывшая площадь имени В.И. Ленина и небольшое безымянное прежде пространство перед зданием бывшего ЦК КП Таджикистана.

2 Нариман, как и Кяшаф, Дамир и Марваис, доводится мне троюродным братом.

* * *

Рахимджан Ибрагимович Каримов (1923-2007) родился в селе Старая Кулатка Ульяновской области. Участник Великой Отечественной войны, награждён боевыми орденами и медалями. Окончил Душанбинский государственный педагогический институт им. Т. Г. Шевченко. Работал литсотрудником газеты «На страже»,

редак-тором редакции вещания на зарубежные страны Гостелерадио Таджикской ССР, старшим редактором и заведующим редакцией издательства «Ирфон».

Автор книг «Тёплый запах ромашки», «Шохиново поле», «Волшебная сумка», «Аличурские травы», «Крутые ступени», «Поезд из Душанбе».

С 1992 года жил в Старой Кулатке, где продолжил литературную деятельность и стал членом СП России. Член Союза журналистов СССР.

Рахимджан КАРИМОВ (Таджикистан) Powestler